

Э. Хемингуэй «Кошка под дождем»

В отеле было всего двое американцев. Они не знали ни кого из постояльцев с которыми встречались на лестнице по пути в свою комнату. Их комната находилась на втором этаже, стороной на море. Из нее так-же был виден городской сад с военным монументом в центре. В саду росли высокие пальмы и были расставлены зеленые скамейки. В хорошую погоду там всегда находился художник с мольбертом. Художнику нравился вид на пальмы и яркие фасады отелей обращенные в сторону сада и моря. Итальянцы прибывавшие из далека устраивали паломничество к обелиску. Он был сделан из бронзы и блестел от дождя. Шёл дождь. Струи ниспадали с пальмовых крон. Вода наполняла ёмкости по сторонам гравиевых дорожек. Море широким фронтом выплескивалось на берег и отступало чтобы снова пойти вперед сквозь пелену дождя. Автомобили исчезли, оставив пространство перед монументом пустым. Напротив, в двери кафе стоял скучающий официант и обзирал пустую площадь.

Американская жена стояла у окна и смотрела наружу. Прямо под их окном кошка свернулась в комочек под зеленым столом. Кошка пыталась занять минимальное пространство чтобы уберечься от льющейся воды.

"Я пойду вниз и возьму эту киску," - сказала Американская жена.

"Я пойду," - предложил ее муж с кровати.

"Нет, это сделаю я. Бедная киска прячется от дождя под столом."

Муж продолжил чтение, удобно устроившись в изголовье кровати на двух подушках.

"Не промокни," - сказал он.

Жена спустилась вниз и директор отеля встал и поклонился ей, когда она проходила мимо.

Его стол находился в дальнем углу вестибюля. Он был стар и высок.

"Il piove," - сказала Жена. Ей нравился директор отеля.

"Sì, Sì, Signora, brutto tempo! Очень плохая погода." Он стоял позади стола в дальнем тускло освещенном углу помещения. Жене он был симпатичен. Ей нравилась абсолютная серьёзность с которой он принимал любые жалобы. Ей нравилось его достоинство. Ей нравилось его стремление услужить. Ей нравился его фасон быть управляющим отеля. Ей нравилось его старое, массивное лицо и большие руки.

Думая о нем, она открыла дверь и высунулась наружу. Дождь шел сильнее. Человек в резиновом плаще пересекал пустую площадь по направлению к кафе. Кошка должна была находиться где-то справа. Возможно она заползла под карниз. Пока она топталась в двери, позади нее открылся зонт. Это была горничная обычно убиравшая в их комнате. "Вам не следует промокать," - она улыбалась говоря по итальянски. Наверняка её послал управляющий. С помощью горничной державшей над ней зонт она проследовала по гравиевой дорожке пока не оказалась под их окном. Зелёный стол был на месте, начисто вымытый дождём, но кошка отсутствовала. Она внезапно растерялась. Девушка посмотрела на неё.

"На perduto qualche cosa, Signora?"

"Здесь была кошка," - сказала Американка.

"Кошка?"

"Sì, il gatto."

"Кошка?" - горничная засмеялась. "Кошка под дождём?"

"Да," - сказала она, " под столом," и, "О, я так хотела её. Я хотела эту киску."

Когда горничная говорила по английски, её лицо становилось серьёзным.

"Пойдемте, Синьора," - сказала она. "Мы должны вернуться во внутрь. Вы промокните."

"Похоже на то," - сказала Американка.

Они проследовали назад по тропинке и вошли в дверь. Горничная задержалась на мгновение чтобы закрыть зонт. Когда Жена проходила через лобби, падроне кивнул ей из-за стойки. Что-то маленькое сжалось у неё внутри. Падроне заставлял её чувствовать себя очень маленькой но в тоже время очень важной. Её посетило секундное чувство высшей значимости. Она поднялась по лестнице. Открыла дверь в номер.

Джорж был на кровати, читал.

"Ты нашла эту кошку?" - спросил он, откладывая книгу.

"Она убежала."

"Интерсно, куда бы это ," сказал он, отрывая глаза от чтения.

Она присела на кровать.

"Я очень её хотела," сказала она. "Я не знаю почему я её так хотела. Я хотела эту бедную киску. Это не сладко - быть бедной киской под проливным дождем."

Джорж снова читал.

Она отошла и села перед туалетным столиком, рассматривая себя в зеркальце. Она окинула взглядом свой профиль, сначала одну сторону, затем другую. Потом она обследовала затылок и шею.

"Ты не считаешь, что мне следовало бы отпустить волосы?" - спросила она снова разглядывая себя в профиль.

Джорж посмотрел на тыльную сторону её шеи, напоминая шею мальчика.

"Мне нравится так как есть."

"Мне это так надоело," - сказала она. "Я устала выглядеть как мальчик."

Джорж подвинулся на кровати. Он не спускал с неё взгляд с того момента как она начала говорить.

"Ты выглядишь лучше всех," - сказал он.

Она положила зеркальце на туалетный столик, подошла к окну и посмотрела наружу.

Смеркалось.

"Я хочу собрать свои длинные, гладкие волосы в тугий пучок на затылке, так чтобы чувствовать," - сказала она.

"Я хочу чтобы кошечка сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я её глажу."

"Да ?" - ответил Джорж с кровати.

"Ещё я хочу есть за столом со своего столового серебра и я хочу свечи. И я хочу чтобы была весна, и я хочу расчёсывать длинные волосы у зеркала, и я хочу Киску, и я хочу новые вещи!"

"Уфф, заткнись пожалуйста и возьми что-нибудь почитать," - ответил Джорж. Он снова углубился в книгу.

Его жена смотрела в окно. Уже было достаточно темно и дождь всё ещё моросил между пальм.

"В любом случае я хочу кошку. Я хочу её сейчас. Если нет длинных волос и других удовольствий, я имею право хотеть кошку!"

Джорж не слышал. Он читал книгу. Его жена всматривалась в окно, за которым на площади зажглись огни. Кто-то постучал в дверь. "Avanti," - сказал Джорж. Он оторвался от книги. В дверях показалась горничная. Она прижимала к себе большого рыжего кота, который недовольно ворочался в её руках. "Извините, " - сказала она, - "Падроне просил передать это для Синьоры."

Il piove. (итал.) - дождь.

Na perduto qualche cosa, Signora? (итал.) - Вы что-то забыли, синьора ?

В. Пьецух «Шкаф»

Этот шкаф долгое время числился по бутафорскому цеху Орловского драматического театра имени Тургенева и преимущественно фигурировал на представлениях "Вишневого сада". Шкаф был самый обыкновенный, двустворчатый, орехового дерева, с широким выдвижным ящиком внизу и бронзовыми ручками, чуть взявшимися едкою зеленцой, но, главное дело, был он не книжный, как следовало у Чехова, а платяной; по бедности пришлось пририсовать ему масляной краской решетчатые окошки, и на глаз невзыскательный, областной, вышло даже как будто и ничего. Во всяком случае, и зрители фальши не замечали, и актеров она нимало не раздражала, впрочем, провинциальные актеры народ без особенных претензий, покладистый, по крайней мере, не озорной. Бывало, во втором акте подойдет к шкафу заслуженный артист республики Иракий Воробьев, взглянет на него с некоторым даже благоговением, как если бы это была настоящая вещь редкого мастерства, картинно сложит руки у подбородка и заведет:

- Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра, общественного самосознания... - и все это со светлой нотой в голосе, искренне и несколько на слезе.

Между тем "многоуважаемый шкаф" лет тридцать простоял в мебелированных комнатах "Лисабон" на 3-й Пушкинской улице, потом в помещении губпросвета у Очного моста, потом в городской военной комендатуре, то есть отродясь в нем ничегошеньки не держали, кроме исходящих и одежды, побитой молью, но тем более изумительна способность к такому самовнушению, которое превращает в святыню мещанский шкаф.

Всего отслужил он в театре пятнадцать лет; и горел он, и отваливались у него ножки, и много раз роняли его пьяные монтировщики декораций, а мебелина как ни в чем не бывало, только ручки у нее все больше и больше брались едкою зеленцой. А перед самой войной в театр пришел новый главный режиссер Воскресенский и велел для "Вишневого сада" купить настоящий книжный шкаф взамен упаднически раскрашенного платяного, и ветеран долго дряхлел в бутафорском цехе, пока его не подарили актрисе Ольге Чумовой на двадцатилетие ее сценической деятельности, которое она отмечала в сорок восьмом году.

Таким вот образом старый шкаф попал на улицу Коммунаров, в двухэтажный бревенчатый дом, в квартиру №4, где, кроме Ольги Чумовой, ее мужа Марка и племянницы Веры, обитали также молодожены Воронины, умирающая старуха Мясоедова и одинокий чекист Круглов. Комната Ольги была до того маленькая, что шкаф сильно затруднил передвижение от двери к обеденному столу, а впрочем, это было еще терпимое неудобство по сравнению с тем, что квартира №4 делилась на закутки фанерными перегородками на решетках, и так называемая слышимость превышала всякую меру человеческого терпения; запоет ли одинокий чекист Круглов арию Розины из "Севильского цирюльника", примется ли стенать старуха Мясоедова, или займутся своим делом молодожены, - все было слышно в мельчайших подробностях и деталях; Марк сядет писать заметку в стенную газету, и то старуха Мясоедова расшумится, дескать, спасу нет от мышей, хотя это всего-навсего поскрипывает перо. Как раз из-за ненормальной слышимости в квартире №4 и случилась история, которая представляется маловероятной в наши, сравнительно безвредные времена.

А именно: однажды поздним октябрьским вечером 1950 года Ольга Чумовая, ее муж Марк и племянница Вера сидели за чаем под богатым голубым абажуром, который давал как бы лунный свет и бледным сиянием отражался на лицах, скатерти и посуде; по радио передавали последние известия, за окном противно выла сирена, созывая работников ночной смены, Ольга задумчиво прихлебывала чай из китайской чашки, Вера прислушивалась к игривым препирательствам молодоженов Ворониных, а Марк читал за чаем "Войну и мир"; он читал, читал, а затем сказал:

- Не понимаю, чего Толстой так восторгается народным характером войны восьмьсот двенадцатого года?! Какую-то дубину приплел, которая погубила французское нашествие, - черт-те что!.. Народ не должен иметь навыка убийства, иначе это уже будет сборище мерзавцев, а не народ, он должен трудиться, обулаивать свою землю, а защищать национальную территорию обязана армия, которую народ содержит из своих средств. Уж так исстари повелось, что народ созидает и отрывает от себя кусок на прокорм жертвенного сословия, военных, которые в военное время убивают, а по мирному времени учатся убивать. Так вот если война принимает народный характер, то это значит, что армия никуда не годится и по-хорошему ее следует распустить. Спрашивается: чему тут радоваться, чем гордиться, если народу приходится делать за армию ее дело, бросать, фигурально выражаясь, мастерок и брать на себя страшный грех убийства? - стыдиться этого надо по той простой причине, что если у государства никудышная армия, то это срам! Ольга пропустила мужнин монолог мимо ушей и поведала невпопад:

- А у нас в театре сегодня было открытое партсобрание...

- Ну и что?

- Ничего особенного. Ираклий Воробьев доказывал, что только в эпоху Иосифа Сталина артист поставлен на должную высоту.

Вера сказала:

- Ну, это он принижает наши достижения: у нас люди всех профессий поставлены на должную высоту. Я прямо ужасно горжусь нашей страной, несмотря даже на то, что который год не могу построить себе пальто. Вообще все как-то не обратили внимания на слова Марка, и напрасно, поскольку их легко можно было истолковать в самом опасном смысле: де, гражданин Чумовой вредительно извращает народный характер Великой Отечественной войны, умаляет историческую победу партии Ленина - Сталина над германским фашизмом и клеветает на Советскую армию, которую, по его мнению, следует распустить. Впоследствии, видимо, кто-то истолковал слова Марка именно таким образом, ибо в ночь на 24 октября 1950-го года за ним пришли. Вероятнее всего, что это оказал рвение по службе одинокий чекист Круглов, хотя он был с Марком в приятельских отношениях и считал себя по гроб обязанным Ольге, которая заговорила ему грыжу в паху и много раз останавливала носовое кровотечение; однако было не исключено, что донесли молодожены Воронины, которые вождели сравнительно просторную комнату Чумовых, хотя в ту минуту, когда Марк наводил критику на Толстого, они игриво препирались между собой и вряд ли уловили опасный смысл; наконец, могла подгадить старуха Мясоедова, даром что одной ногой была в могиле, хотя она была малограмотная старуха и не отличала левого уклониста от кулака. Но как бы там ни было, в ночь на 24 октября в комнату к Чумовым ввалились чекисты в сопровождении дворника Караулова, подняли с постели Марка и предъявили ему бумажку:

С.С.С.Р

Управление Государственной Безопасности
Орловского горотдела МГБ
Ордер N 543

Выдан 23.X.1950 г.

Действителен 2 суток.

Сотруднику Нечитайло В.Н.

Тов. Нечитайло,

Вам поручается произвести обыск и арест гр-на Чумового М.Г.,
проживающего ул.Коммунаров, д.5, кв.4.

Всем органам Советской власти и гражданам СССР надлежит оказывать
законное содействие предъявителю ордера при исполнении им возложенных на
него поручений.

Начальник Орловского Г.О. МГБ: Туткевич

Секретарь: Гудков.

Ночной этот налет показался Марку столь невероятным, что он даже с
интересом прочитал предъявленную бумажку и не мог сдержать нервной улыбки,
когда у него изъяли черновик заметки для стенгазеты, томик Достоевского и
костяной нож для разрезания бумаги из бивня морского зверя. Улыбаться ему
было вроде бы не с руки: увели его, бедолагу, год продержали в тюремной
камере, осудили за участие в подпольной фашистской организации и упекли в
колымские лагеря. Там он как в воду канул, ни слуху, ни духу не было о нем
до самого освежающего 1956 года, когда Ольга Чумовая получила из
областного отдела госбезопасности свидетельство о смерти ее супруга от
воспаления легких и справку, извещающую о том, что за отсутствием состава
преступления дело гражданина Чумового производством прекращено.

Ольга же, напротив, пережила в ночь на 24 октября такое тяжелое
потрясение, что ей отказал язык; племянница Вера в отчаянье и так к ней
подъезжала, и сяк, но Ольга не могла ни слова из себя выдать и только
вращала безумными глазами, как механические совы на стенных часах или как
сердечники во время жестокого приступа ишемии. Впрочем, дар речи вернулся
к ней очень скоро: три дня спустя после ареста Марка чекист Круглов
намекнул соседке, что вот-вот и за ней придут, и дар речи внезапно
вернулся к Ольге, словно он только затаился в ней на семьдесят два часа.

- Чему быть, того не миновать, - сказала Ольга и как-то ушла в себя.

На самом деле она и не думала покоряться слепой судьбе, и весь вечер
они с племянницей Верой судили-рядили, как бы обвести ее вокруг пальца:
можно было и бежать из города куда глаза глядят, да только в чужих людях
без средств к существованию не прожить, а Ольга не умела даже помыть
посуду; можно было ехать на Украину, в городок Градижск под Кременчугом,
где жила Ольгина бабка, ведунья, известная всей округе, да только и
актрису Чумовую там знали во всей округе; наконец, можно было как-то
спрятаться и в Орле. Тут-то племяннице Вере и пришла в голову остроумная
мысль вполне национального образца, которая не пришла бы ни в какую
голову, кроме русской, а именно решено было, что Ольга просидит какое-то
время в платяном шкафу, подаренном ей на двадцатилетие ее сценической
деятельности, пока недоразумение не развеется и Марка не выпустят на
свободу. В тот же вечер Ольга засела в шкаф, наутро всей квартире было
объявлено, будто бы она уехала из города в неизвестном направлении, и
чекист Круглов со странным удовлетворением сообщил, что теперь на нее
объявят всесоюзный розыск и, скорее всего, найдут. Между тем за Ольгой не
пришли ни на другой день, ни на третий, ни даже через неделю, - видимо,

Круглов оповестил свое начальство об исчезновении Чумовой, и ее искали в иных местах.

Первое время Ольга вовсе не выходила из своего оригинального убежища, опасаясь быть обнаруженной как-нибудь невзначай, и даже справляла нужду в горшок, который племянница Вера подавала ей дважды в день. Изнутри шкаф оказался на удивление поместительным: в нем разве что гулять было нельзя, но свободно можно было стоять, не пригибаясь, вольготно сидеть на маленьком пуфике, спать лежа, немного согнув ноги в коленях, и даже делать гимнастику, если исключить из программы некоторые особо резкие упражнения, вроде прыжков на месте. Для вентиляции Вера проделала шилом дырочки в боковой стенке, для освещения в шкафу была поставлена свеча-ночник в миниатюрном подсвечнике, наполнявшая помещенье запахом гари и старины, - одним словом, многое было сделано для того, чтобы бытование в древней мебели было удобней и веселей; впоследствии Вера туда еще и электричество провела, так что получилась как бы отдельная жилая площадь, целый чуланчик с удобствами, который в условиях перманентного жилищного кризиса мог быть даже предметом зависти для многих обездоленных простаков. Чуть ли не всю первую неделю жизни в шкафу Ольга Чумовая последовательно изучала его внутренность, испытывая при этом чувство первопроходца, попавшего в незнакомые, занимательные места. На задней стенке имелось созвездие загадочных дырочек таинственного происхождения, похожее на созвездие Близнецов; на левой боковой стенке виднелись трещинки, складывающиеся когда в горный пейзаж, когда в физиономию Мефистофеля, каким его вырезают на чубуках; на правой боковой стенке, не считая отверстий для вентиляции, были вбиты три гвоздика неизвестного предназначения, на которых болтались толстые выцветшие ниточки, похожие на высохших червячков; на правой створке шкафа были нацарапаны слова "Памяти праведников Прокопия и Нафанаила" - видимо, заклинание от моли, на левой створке не было ничего.

Очень скоро оказалось, что Ольга обитает в шкафу не одна: в правом верхнем углу жил себе паучок, к которому у нее сразу возникло некоторым образом коммунальное отношение, то есть отношение одновременно товарищества и разлада. Презабавный это был паучок: он то медленно, точно в раздумье, спускался по невидимой ниточке, то вдруг ни с того, ни с сего молниеносно взмывал по ней вверх, иногда он раскачивался, повиснув на задней ножке, как цирковой гимнаст, всегда появлялся из своей потаенной норки, стоило поскрести ногтями по стенке шкафа, а если кашлянуть, например, почему-то тотчас прятался и долго не вылезал. Позже Ольга даже ставила опыты с паучком: подсовывала ему мушек, которых ловила для нее племянница Вера, сажала его на палочку и переселяла в другой угол шкафа, проверяла реакцию на изменение влажности, на разное освещение, на шумы и в конце концов пришла к выводу, что пауки - в высшей степени благоустроенные существа, то есть совершенно довольные собой в окружающем мире и миром вокруг себя. Между прочим, из этого вывода последовала первая в ее жизни социально-этическая идея: поскольку пауки благоустроены потому, что знают бытовую культуру на генетическом уровне, как закон, через который невозможно переступить, постольку высшая цель социалистического строительства состоит в том, чтобы на протяжении нескольких поколений воспитать человеческое существо, генетически довольное собой в окружающем мире и миром вокруг себя, хотя бы для этого человека нужно было довести до статуса паучка. Чтобы укрепиться в своей идее, Ольга попросила племянницу Веру взять в районной библиотеке какую-нибудь книжку о мелкой жизни, затем

последовали основательные труды по энтомологии и, сколь это ни удивительно, со временем Ольга сделалась едва ли не самым крупным специалистом в Орловской области в области физиологии насекомых. Она потом даже вела спецсеминар в Воронежском педагогическом институте по безусловным рефлексам у телефонов и даже в шестидесятом году защитила по ним кандидатскую диссертацию, что называется, "на ура".

Вообще жизнь в шкафу оказалась не такой уж и скучной, как показалось ей поначалу, ибо и ученое занятие у нее нашлось, и, хочешь не хочешь, она жила жизнью своей квартиры. То старуха Мясоедова смертно, как-то окончательно застенает, кажется, вот-вот и вправду отдаст Богу душу, то, вернувшись со службы, что-нибудь интересное поведает одинокий чекист Круглов, то Воронины из-за чепухи затеют незлой скандал или займутся своим молодым делом, а Ольга по частоте и глубине дыхания угадывает фигуру. Кроме того, она одно время репетировала Катерину из "Грозы", каковую накануне ее исчезновения начал ставить режиссер Воскресенский, но вскоре бросила, ибо вдруг почувствовала отвращение к своему прежнему ремеслу. Наконец Вера догадалась подвесить репродуктор подле дырочек для дыхания, так чтобы радио можно было слушать при самой ничтожной громкости, и, таким образом, Ольга всегда была в курсе событий, которые происходили в отечестве и вокруг. Сидя в шкафу, она сердечно радовалась успехам восстановления народного хозяйства, разрушенного войной, и остро переживала такие драмы, как предательство маршала Тито, небывалое наводнение в братском Китае и вспышку холеры на Соломоновых островах. Любопытно заметить, что некоторые события она с необыкновенной точностью предсказала, например, она напророчила Берлинский кризис и поражение французов под Дьенбьенфу; смерть Иосифа Сталина она накаркала за полгода до того, как в начале весны пятьдесят третьего года он скончался от инсульта на "ближней даче". Разумеется, Ольгу томило мучительное однообразие ее жизни, но когда уже совсем становилось невмоготу, она говорила себе, что, верно, будни актрисы Гиацинтовой ненамного разнообразнее ее буден, то же самое: зубрежка, репетиция и спектакль, зубрежка, репетиция и спектакль, - даром что она столичная примадонна, вращается и вообще.

Это соображение было тем более основательным, что за время Ольгиного сидения в шкафу квартира N_4 пережила ряд значительных событий и перемен. Приходили печники из домоуправления переключать печку в комнате Чумовых, и Ольга битых четыре часа просидела в шкафу ни жива, ни мертва, опасаясь дышать полной грудью, а пуще того опасаясь впасть от страха в обморок и вывалиться наружу, к изумлению печников. Как-то, в пору обеденного перерыва, когда в квартире никого не было и даже старуха Мясоедова с градусником под мышкой стояла в очереди за мукой, забежали домой перекусить молодая Воронина и Круглов, но даже не прикоснулись к своим керогазам, а сразу вступили в связь, и Ольга подумала, ужаснувшись: а что если и ее Марк грешил с молодой Ворониной, воспользовавшись обеденным перерывом?.. Коли так, то это еще мало, что его посадили, а нужно было его примерно четвертовать. Летом пятьдесят третьего года, в ночь, арестовали Круглова; той ночью Воронины занимались своим молодым делом, старуха Мясоедова помирала не на шутку и даже примолкла, охваченная отходной истомой, сам Круглов зубрил английские неправильные глаголы, - видимо, его собирались переводить на заграничную работу, - когда в квартиру N_4 ввалились чекисты в сопровождении дворника Караулова, повязали бедолагу по рукам и ногам, поскольку он несколько раз норовил выброситься в окно, избили и

увели. А старуха Мясоедова той ночью в конце концов померла, и три дня спустя племянница Вера таскала Ольге с поминального стола то блинчики с селедкой, то кутьи на блюде, то крахмального киселя. В январе пятьдесят четвертого года комнату Круглова отдали Ворониным, и пьяный плотник из домоуправления долго ломал фанерную перегородку, пока не заснул с топором в руках.

Однако события и перемены выдавались довольно редко, и обычные дни были похожи друг на друга, как воробьи. Поднималась Ольга без пятнадцати минут шесть, поскольку одинокий чекист Круглов поднимался в шесть, и, справив нужду, забиралась в шкаф. Там она усаживалась на пуфик, подпирала голову руками и слушала звуки своей квартиры. Вот зазвонил будильник у чекиста, тот испуганно всхрапнет напоследок и принимается хрустеть суставами, потягиваясь в постели. Затем он начинает заниматься гириями, которые иногда тупо стучаются друг о друга, и приговаривает при этом одно и то же, именно на вдохе:

- Гвозди бы делать из этих людей... -

и на выдохе:

- Не было б в мире крепче гвоздей, -

а Ольга тем временем подумывала о том, что Тихонов написал, в сущности, вредительские стихи. После гимнастики Круглов долго и основательно умывался на кухне, напевая арию Розины из "Севильского цирюльника", а примерно с половины седьмого его партию постепенно забивали прочие голоса. Начинала постанывать старуха Мясоедова, жалобно так, точно она просила о помощи на каком-то неземном языке, сквозь ее стоны мало-помалу прорезалось сладострастное дыхание Ворониных, и старуха вдруг замолчит - видимо, прислушивается к молодым звукам любви и вспомнит свое бывшее. После шумели одни Воронины: они нудно спорили, кому выносить горшок, звенели посудой, шаркали тапочками и уморительно трудно одевались, ибо ни одна вещь у них не знала своего места.

- Зинк! - говорил _сам_. - Куда, к черту, запропастились мои носки?!

- А я почему знаю! - отвечала ему _сама_ и потом заунывно отчитывала супруга за непамятливость и небрежность, пока носки не находились в ящике с песком, устроенном для кота.

За завтраком они всегда разводили политические беседы.

- Я не понимаю, - например, говорит _сам_, - чего тянет резину английский пролетариат?.. Нет, правда, Зинк... Чего они там резину-то тянут, чего они не скрутят свою буржуазию в бараний рог?! Безработица у них страшная, уровень жизни постоянно падает, уверенности в завтрашнем дне нет никакой, а они, понимаешь, ни шьют, ни порют!..

- Наверное, у них муку без очереди дают, - гадают _сама_, и Ольга чувствовала, что у Зинаиды Ворониной в эту минуту на лице оживает мысль. - У них, поди, тогда произойдет социалистическая революция, когда начнутся очереди за мукой.

Сам говорит на это с поддельной силой:

- Ты давай сворачивай эту враждебную пропаганду, а то я на тебя в органы настучу.

Затем Воронины отправлялись на службу, - _сам_ в пожарное депо, _сама_ в Орловский энерготрест, - и в квартире наступало относительное затишье; относительное, собственно, потому, что все же время от времени постанывает старуха Мясоедова, приглушенно шепчет радио, осыпается штукатурка на новой печке, вода каплет из рукомойника, кот точит когти о войлочный коврик, на кухне возятся мыши, сами собой поскрипывают половицы в передней, точно

кто-то пришел и ходит. Томно как-то на душе, не по-хорошему ожидательно, как будто съела нечто непонятное и теперь с тоскою думаешь, что-то будет... Радио от скуки послушать, что ли?..

"...Некоторые думают, что уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого культурно-технического поравнения работников умственного и физического труда на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техников, работников умственного труда, до уровня среднеквалифицированных рабочих. Это в корне неверно. Так могут думать о коммунизме только мелкобуржуазные болтуны. На самом деле уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. Было бы смешно думать, что такой подъем неосуществим. Он вполне осуществим в условиях советского строя, где производительные силы страны освобождены от оков капитализма, где труд освобожден от гнета эксплуатации, где у власти стоит рабочий класс и где молодое поколение рабочего класса имеет все возможности обеспечить себе достаточное техническое образование. Нет никаких оснований сомневаться в том, что только такой культурно-технический подъем рабочего класса может подорвать основы противоположности между трудом умственным и трудом физическим, что только он может обеспечить ту высокую производительность труда и то изобилие предметов потребления, которые необходимы для того, чтобы начать переход от социализма к коммунизму..."

Все это, конечно, так, но тоска, тоска...

Отключившись слухом от радио, Ольга открывала наполовину ближнюю створку шкафа, к которой была привязана веревочка, другим концом намотанная на мизинец, чтобы в случае опасности можно было мгновенно захлопнуть створку, брала в руки какой-нибудь труд по энтомологии и замирала, лакомясь светом дня. С улицы, сквозь бревенчатые стены, до нее долетали звуки обычной жизни, включая весьма отдаленные и неясные, вроде шума воды, извергающейся из колонки на углу Коммунаров и X-летия Октября, - кстати заметить, за время добровольного заточения ухо у нее наострилось до такой степени, что, если во двор приходил точильщик, она легко различала, когда он точит ножик, когда топор. Проедет полуторка, скрежеща гнилыми рессорами, объявится старьевщик, татарин, и заорет бабьим голосом, мужики подерутся у пивного ларька, - все ей любопытно и дорого, потому что приобщает к нормальной жизни.

Затем наступало время ученого чтения и заметок, за которыми незаметно проходил день. Там возвращалась племянница Вера из своего техникума, и они с полчаса обменивались записками: Вера сообщала Ольге городские новости, а Ольга писала всякую чепуху. Постепенно угасал дневной свет, ощутительно и торжественно угасал, как гасят люстру в Большом театре, и Ольга зажигала в шкафу свечу. От капли огня нутро шкафа преображалось, становясь похожим на пещеру отшельника, и Ольга принималась строить чудные грезы, а то силой воображения норовила получить из профиля Мефистофеля контур Балканского полуострова, а из горного пейзажа выкройку дамского пиджака. Иногда ей приходило на мысль, что так, как живет она, не живет никто.

Около шести часов вечера возвращались со службы супруги Воронины и сразу принимались за свою вечную беззлобную перепалку.

- Зинк! Я вчера под статуэтку трешницу положил, а теперь ее нет, небось ты куда-нибудь задевала...

- В глаза я не видела твою трешницу! Ты ее поди пропил, бессовестная

твоя морда, а на меня вешаешь всех собак!

- Ну вот!.. А я эту трешницу хотел отдать в фонд борьбы корейского народа, и теперь мне в профкоме намылят холку.

- Ничего: и без твоей трешницы обойдутся. Поди на эту самую корейскую войну идет такая прорва народных денег, что это непостижимо человеческому уму! А сами впроголодь живем, как последняя гольтепа, зато у корейцев есть из чего стрелять!

- Зинк! Ты давай сворачивай эту враждебную пропаганду, а то я на тебя в органы настучу...

Последним, что-то часу в десятом, возвращался домой одинокий чекист Круглов; он раздевался и в одних подштанниках садился зубрить английские неправильные глаголы.

И все население 4-й квартиры нимало не подозревало о том, что Ольга Чумовая, член семьи врага народа, по-прежнему обитает вместе с ними под одной крышей, тихонько, как мышка, сидя в своем шкафу. Раз только, когда Ольге нездоровилось и она невзначай чихнула, старуха Мясоедова сообщила соседям, что, видимо, помер в заключении Марк, что, видимо, он приходил на свои девятины попрощаться с родным домом, бродил по комнате и чихал. Да как-то чекист Круглов, встретив в прихожей Веру с пачкой свечей для Ольги, спросил ее, в раздумьи нахмутив брови:

- И зачем тебе столько свечей, ешь ты их, что ли?..

Вера сказала:

- Ем.

- И вкусно?

- Вкусно.

- Ну да, конечно, - принялся сам с собой рассуждать одинокий чекист Круглов, - у нас ведь в России как: не по хорошему мил, а по милу хорош. Вообще насчет свечей - это интересный почин, моя бы власть, я бы всю Россию посадил, скажем, на солидол...

Тогда-то Вера и провела в шкаф электричество, чтобы снять подозрение со свечей.

Наконец, в декабре пятьдесят шестого года пришла бумага из областного отдела госбезопасности, извещающая о том, что за отсутствием состава преступления дело гражданина Чумового производством прекращено, и Ольга вылезла из шкафа, таким образом воротившись в живую жизнь. На радостях выпили они с Верой бутылку "Крымской ночи", наговорились всласть, сходили погулять по улице Ленина, обсуждая во время прогулки новые моды, наведались в театр и, вернувшись домой, завалились спать. Только просыпается Вера на другой день, а Ольги нет; ни на кухне ее нет, ни в уборной, ни на дворе, отворяет Вера шкаф для очистки совести, а там Ольга сидит, подперев голову кулачком, и слушает звуки своей квартиры.

В.Пьецух «Жана фараона»

Соня Пароходова десять лет была замужем за бандитом по прозвищу Фараон. Этот самый Фараон начинал как владелец первого на Москве частного кинотеатра, но мало-помалу докатился до уголовщины, поскольку коммерческая жилка была в нем ограничено развита. Соня Пароходова не то чтобы любила своего мужа, а как-то с ним сроднилась за десять лет, что же до странных его занятий, то они представлялись ей не более экзотическими, чем,

например, профессия водолаза или деревенского колдуна. А в девяносто шестом году Фараон купил Соне Пароходовой ателье мод, и она, что называется, с головою ушла в собственные дела; через неделю-другую она уже сколотила штат, запаслась по дешевке мануфактурой, в частности похищенной на фабрике "Красный мак", навывисывала женских журналов и пресерьезно принялась делать фронду одному знаменитому московскому кутюрье. Как раз утром 24 сентября 1996 года у Сони Пароходовой сочинилась фантастическая модель: комбинированный материал, цвета кардинальские, именно лиловое с малиновым, спина глухая, спереди декольте, спускающееся под острым углом без малого до пупа, а из проймы рукава растут сборенные крылышки, похожие на те, какие бывают у мотылька. Эта модель пригрезилась Соне Пароходовой спозаранку, однако, поднявшись с постели, она не понеслась сломя голову к своему письменному столу, а прибегла к обыкновенным утренним операциям, приятно-мучительным оттого, что у нее перед глазами все стояла фантастическая модель. Сперва она, как была в ночной сорочке, посмотрелась в высокое венецианское зеркало, отражавшее ее всю; посмотреть действительно было на что: Соня Пароходова отличалась хорошим ростом, отменными пропорциями тела и тонким, точно изнуренным лицом, на котором светились славянские богобоязненные глаза. Затем она приняла ванну и надолго обосновалась у дедовского трюмо; кремы там разные, лосьоны, притирания, ну, самосильный массаж лица, - в общем, мужскими словами не описать, каким именно образом можно с толком провести битых сорок минут, сидючи у дедовского трюмо. Управившись с утренним туалетом, Соня Пароходова выпила первую рюмочку перно - она почему-то всем прочим напиткам предпочитала французскую водку перно, которую называют еще - пастис. Затем она отправилась на кухню готовить кофе; это немудреное занятие превращалось у нее в долгую, кропотливую процедуру, но вот уже по квартире распространился приторный и задорный кофейный дух, Соня Пароходова налила себе чашку гарднеровского стекла и села за телефон. Наступало самое разлюбозное время суток, когда она, потягивая кофе, звонила подругам и по делам.

- Кать, это ты?

- Представь себе, я, - донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

- Как там у нас дела?

- Только что привезли от Михайлика подкладочный шелк, пуговицы и шифон.

- А что с костюмом для этой мымры?

- Уже петли обметываем.

- Ну-ну.

- Да, еще приходили чинить утюги, но оба совершенно косые, только что держатся на ногах.

- Прогнала?

- А то!

- Теперь самое главное... Ты стоишь или сидишь?

- Стою.

- Тогда сядь. Сегодня утром я придумала фантастическую модель!.. - И Соня Пароходова в мельчайших деталях описала свою фантастическую модель.

- Ну, теперь этот гад у нас не обрадуется! - сказала Катерина, имея в виду одного известного московского кутюрье.

- Кстати о гадах: как у тебя дела с твоим бухгалтером?

- Да никак! Мало того что я его не люблю, у него к тому же сахарный диабет...

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, наконец Соня Пароходова повесила трубку, закурила сигарету и принялась ходить туда-сюда, понемногу приближаясь к своему письменному столу; хочется заметить, что стол у нее был замечательный, крытый английским сукном, отделанный карельской березой, с балюстрадой по краям, на толстых витых... вот даже нельзя сказать - ножках, а нужно сказать - ногах; на столе стоял чернильный прибор, гипсовый бюст Наполеона и бронзовая керосиновая лампа под колпаком матового стекла. Итак, Соня Пароходова ходила туда-сюда, и в ней постепенно зрело то чрезвычайно приятное, хотя отчасти и нервное ощущение, которое знакомо только художественным натурам, а именно: как будто вот-вот составит формула счастья, и от этого в животе делается немного щекотно, к рукам приливает горячая кровь и какая-то жилка осторожно пульсирует в голове. Долго ли, коротко ли, она уселась за письменный стол, подогнув под себя правую ногу, открыла баночку китайской туши, раскрыла набор акварельных красок, взяла в руки перо, два раза тяжело вздохнула и принялась за свою фантастическую модель. Поначалу дело двигалось хорошо, но мало-помалу угар прошел, и следующие два часа Соня Пароходова просидела за наброском для проформы, из природной тяги к положительному труду. Вылезши из-за стола в самом неприятном настроении, она выпила другую рюмочку перно, закусил ломтиком лимона, посыпанным крупной солью, и села за телефон.

- Катя, это ты?

- Представь себе, я, - донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

- Что-то у меня не получается ничего...

- Ты, главное, не переживай. И почаще вспоминай, чему нас учили в школе: в жизни всегда есть место подвигу, - нужно только, это самое... налегать!

- В школьные годы я училась на круглые пятерки и ходила на босу ногу.

- Ну вот видишь! Как ты была у нас отличница, так ею и осталась, поэтому ты главное - налегай.

- А что с костюмом для этой мымры?

- Она его только что забрала.

- Довольна?

- Не то слово!

- Ну еще бы! Ей на роду написано в дерюжке ходить и веревочкой подпоясываться, а тут ей, можно сказать, Елисейские Поля устроили на дому...

- Вот именно!

- Слушай: а бухгалтер твой не звонил?

- Звонил - а что толку? Он уже третий год только и делает, что звонит.

- Ну, три года - это для собаки много, а для человека считается ничего.

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, а затем Соня Пароходова вышла проветриться на балкон. Даром что календари показывали конец сентября, погода стояла летняя - хотя и пасмурная, но теплая и сухая. Впрочем, приметы грядущей летаргии уже давали о себе знать: в воздухе чувствовалось что-то сонное, свет был квелым, листья на деревьях потемнели и чуть слышно запахло тленом, на балконе соседнего дома знакомый сумасшедший говорил дикую речь, вытянув правую руку в направлении Тишинского рынка, снегирь сидел на карнизе, хотя снегилям была еще не пора. Вдруг солнечный луч прорезался сквозь сероватую пелену неба и произвел на Соню Пароходову чрезвычайно приятное действие: чувство было

такое, как будто вот-вот сама собой составит формула счастья, и от этого в животе делается немного щекотно, к рукам приливает горячая кровь и какая-то жилка осторожно пульсирует в голове. В эту минуту лицо ее осветилось улыбкой, как бы обращенной вовнутрь, и она вернулась к письменному столу.

Через час с небольшим эскиз ее фантастической модели был в общих чертах готов. В связи с этим обстоятельством Соня Пароходова испытала настолько полное удовлетворение, что на радостях выпила целый стакан перно. Затем она села за телефон и принялась раздумывать, кому бы ей позвонить, чтобы поведать про свой успех.

- Кать, это ты?

- Представь себе, я, - донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

- Что-то у нас телефон плохо работает...

- Завтра велю телефонщикам починить.

- А если и эти пьяные придут?

- Выгоню в шею и подам на их службу в народный суд!

- Теперь суды как-то по-другому называются...

- Хрен редьки не слаще.

- Это, конечно, да.

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, и в заключение Соня Пароходова пригласила Катерину в один маленький ресторан отметить рождение фантастической модели, но Катерина отказалась под тем предлогом, что с часу на час в ателье должны были доставить лекала, которые Михайлик стяжал у знаменитого московского кутюрье. Повесив телефонную трубку, Соня Пароходова надолго призадумалась, что бы такое ей на себя надеть; в конце концов выбор пал на туфли светло-зеленой замши, строгий костюм из черного кашемира и темно-зеленый шотландский плед.

В четвертом часу дня она вышла из дома, села в такси и покатила в свой маленький ресторан. Шофер ей попался разговорчивый, и дорогой они потолковали о том о сем.

- Неприятная, знаете ли, приходит иногда мысль, - между прочим сказал шофер.

- Вот есть, например, такая страна Уругвай, где, наверное, живет много интересных людей, которые обо мне ничего не знают, и я о них ничего не знаю и не узнаю никогда, будто бы их и нет! А ведь это страшно, во-первых, потому, что жизнь как бы прожита не сполна, а во-вторых, потому, что в некотором роде меня тоже нет... - спрашивается, как жить?!

Народу в ресторане не было ни души, и только два официанта в опереточной униформе, казалось, дремали у стойки, подложив под головы кулаки. Соня Пароходова заказала рюмку перно, бутылку шампанского, салат с креветками, венский шницель и клубничное мороженое на десерт. От шампанского на нее напало лирическое настроение и захотелось поговорить.

- Вот если пожилой человек едет в автобусе, - сказала она официанту, принесшему венский шницель, - а ты хочешь к нему обратиться, что ты в таких случаях говоришь?

- Я в автобусах не езжу.

- Ну, предположим, случился такой казус...

- Я бы сказал: отец.

- А в Англии, представь себе, такого слова в заводе нет! То есть слово, конечно, есть, только они его друг другу не говорят.

- А что же они говорят?

- Если ты клиент, то тебе говорят: сэр.
- А если я обслуга?
- Тогда ты говоришь: сэр. А чтобы сказать: "Ты, мать, давай не толкайся", - этого у них нет. И дети английские никогда не говорят незнакомым мужчинам "дядя".
- А кому же они говорят "дядя"?
- Если ты брат отца.

Из ресторана Соня Пароходова вышла в отличном расположении духа, чему в первую очередь способствовало шампанское и милый официант. Кроме того, денек был хорош: солнце едва пекло, но при этом светило так ласково и печально, как в другой раз глядят симпатичные старики; в воздухе не было заметно никакого движения, но почему-то слегка ерошились волосы у прохожих; на бульваре дворники жгли опавшие листья, которые далеко распространяли дух волнующий и пряный, действовавший на психику, как вино. Соня Пароходова медленно шла в сторону Моховой, щурилась на солнце и думала о том, какой в самом деле чудесной выдалась ее жизнь.

Впрочем, в последнее время ей стало являться одно неприятное подозрение: точно покойное, обеспеченное, веселое существование есть что угодно - аномалия, греза, ощущение ощущения, но не жизнь в правильном смысле слова, а настоящая жизнь есть нечто таинственное и грозное, какая-то страшная боль, которая тем не менее завораживает и манит.

Примерно с час Соня Пароходова ходила по магазинам: она купила пару черных лакированных туфель, флакончик духов, лайковые перчатки, набор колонковых кисточек для рисования, коробку шоколадных конфет, букетик фиалок и бисерный кошелек. Под конец рабочего дня она наведальась в свое ателье мод; поскольку Катерины на месте не оказалось, она рассеянно поглазела, как работают девушки, проверила, аккуратно ли обметаны швы на одном из платьев, выкурила сигарету и вышла из ателье через задний ход. Было около семи часов вечера, когда Соня Пароходова села в такси и покатила к себе домой. На этот раз шофер ей попался неразговорчивый, она его спрашивает:

- Правда, что скоро опять повысят цены на горючее?

Тот молчит.

Через некоторое время она ему говорит:

- Эти идиоты точно доведут народ до четвертой русской революции!..

Тот молчит.

Воротясь домой, Соня Пароходова первым делом приняла ванну, надела черное короткое платье чулком и, манкируя опасностью простудиться, вышла проветриться на балкон. Солнце уже садилось на кособокие крыши Козихинских переулков, явственно пахло гарью, напротив знакомый сумасшедший говорил дикую речь, вытянув правую руку в направлении Тишинского рынка, по карнизам расхаживали колченогие сизари. Соня Пароходова печально вздохнула, вернулась в комнаты, налила себе рюмочку перно и села за телефон.

- Катя, это ты?

- Представь себе, я, - донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека.

- Телефон ты так и не починила.

- Так мы же затеяли завтра его чинить!..

- А где ты была около семи часов вечера?

- Ездил к Михайлику смотреть настоящие вологодские кружева.

- Ну и как?

- В общем, факультативное зрелище, можно было и не смотреть.
- А этот козел звонил?
- Какой козел?..
- Ну, бухгалтер твой недоделанный.
- Перед самым закрытием позвонил.
- И чего он вообще себе думает?
- Он думает, что я дурочка и меня можно держать на телефонном проводе, как на укороченном поводке. Самое интересное, что замуж за него я в любом случае не пойду.
- Из-за сахарного диабета?
- Нет, я просто замуж для галочки не пойду...

Они еще с полчаса поговорили на общеженские темы, затем Соня Пароходова повесила трубку и подошла к распахнутому окну. Вечер малозаметно перетекал в ночь: звезды еще не прорезались, но небо уже приобрело тот тяжелый сливовый цвет, который в пасмурную погоду обыкновенно предваряет появление звездной сыпи; было в этом небе нечто гнетущее и одновременно намекающее, и Соню Пароходову опять обуяло подозрение на тот счет, что о человеческой жизни у нее сложилось поверхностное впечатление - по крайней мере, она знает о ней не все. Усилием воли отогнав от себя эту ненужную мысль, она немного походила по комнате, потом села за письменный стол и принялась так и сяк крутить старинную керосиновую лампу под колпаком матового стекла. Немного погодя она осторожно сняла колпак, затем отсоединила емкость, полную керосина, подняла ее над головой и всю вылила на себя; в комнате сразу запахло москательной лавкой, и Соня Пароходова поневоле вернулась в детство, в город Ижевск, в двухэтажный мещанский домик, где внизу продавали всякую всячину и в частности керосин. Она взяла в руки картонный спичечный коробок и, чиркая спичками, стала поджигать на себе одежду; то ли керосин был нехорош, то ли он вообще плохо горел на открытом воздухе, но только ей пришлось известить больше половины картонного коробка, прежде чем ее черное платье нехотя взялось розоватым пламенем, которое производило вонючий дым.

Когда уже затрещали волосы на голове, ей подумалось: вот она, другая жизнь, жуткая и неизмеримо значительная уже тем, что она необратимо идет к концу. Кожу на теле так нестерпимо жгло, что Соня Пароходова не помня себя выбежала на лестничную площадку. Несколько секунд она дико озиралась по сторонам, но потом сознание ее помутилось, она упала на ступеньки и покатилась вниз, уже не думая, а как-то ощущая, что теперь она знает все.

А.П. Чехов «Дама с собачкой»

1

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по несколько раз в день.

Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпирцем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

"Если она здесь без мужа и без знакомых", - соображал Гуров, - то было бы не лишнее познакомиться с ней".

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах "ъ", называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

- Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без "низшей расы" он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной, этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпирца и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпирц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

- Он не кусается, - сказала она и покраснела.

- Можно дать ему кость? - и когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: - Вы давно изволили приехать в Ялту?

- Дней пять.

- А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

- Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! - сказала она, не глядя на него.

- Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя

где-нибудь в Белеве или Жиздре - и ему не скучно, а придет сюда: "Ах, скучно! ах, пыль!" Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом - и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, придет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, - в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, - должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

"Что-то в ней есть жалкое все-таки", - подумал он и стал засыпать.

2

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты как молодые и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

- Погода к вечеру стала получше, - сказал он. - Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально посмотрел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо

огляделся: не видел ли кто?

- Пойдемте к вам... - проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на не теперь, думал: "Каких только не бывает в жизни встреч!" От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, - как, например, его жена, - которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта "дама с собачкой", к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, - так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

- Нехорошо, - сказала она. - Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло по крайней мере полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

- Отчего бы я мог перестать уважать тебя? - спросил Гуров. - Ты сама не знаешь, что говоришь.

- Пусть бог меня простит! - сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. - Это ужасно.

- Ты точно оправдываешься.

- Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, я знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, - говорила я себе, - другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

- Я не понимаю, - сказал он тихо, - что же ты хочешь?

Она спрятала голову у него на груди и прижалась к нему.

- Верьте, верьте мне, умоляю вас... - говорила она. - Я люблю честную,

чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

- Полно, полно... - бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик. Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

- Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидерич, - сказал Гуров. - Твой муж немец??

- Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства.

Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки - моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек - должно быть, сторож, - посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

- Роса на траве, - сказала Анна Сергеевна после молчания.

- Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его: он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, нисколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна

заторопилась.

- Это хорошо, что я уезжаю, - говорила она Гурову. - Это сама судьба. Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробили второй звонок, она говорила:

- Дайте я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. - Я буду о вас думать... вспоминать, - говорила она. - Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

"Пора и мне на север, - думал Гуров, уходя с платформы. - Пора!"

3

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковороде...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И

воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс, или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее... И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома - не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

- Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

- Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

- Дмитрий Дмитрич!

- Что?

- А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном охватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах! Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека - и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном, и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме, - это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц. Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

"От такого забора убежишь", - думал Гуров, поглядывая то на окна, то на

забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил, и все больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал. "Как все это глупо и беспокойно, - думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер. - Вот и выпался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?"

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой:

"Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут".

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз "Гейша". Он вспомнил об этом и поехал в театр.

"Очень возможно, что она бывает на первых представлениях", - думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

- Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно

борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он - за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: "О, господи! И к чему эти люди, этот оркестр..."

И в эту минуту он вдруг вспомнил: как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца! На узкой, мрачной лестнице, где было написано "ход в амфитеатр", она остановилась.

- Как вы меня испугали! - сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. - О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

- Но поймите, Анна, поймите... - проговорил он вполголоса, торопясь. - Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

- Я так страдаю! - продолжала она, не слушая его. - Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

- Что вы делаете, что вы делаете! - говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. - Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

- Вы должны уехать... - продолжала Анна Сергеевна шепотом. - Слышите, Дмитрий Дмитрич. Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива... Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

4

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, - и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в "Славянском базаре" и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

- Теперь на три градуса теплее, а между тем идет снег, - говорил Гуров дочери.

- Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

- Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая - протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его "низшая раса", хождение с женой на юбилеи, - все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в "Славянский базар". Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

- Ну, как живешь там? - спросил он. - Что нового?

- Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

"Ну, пуская поплачет, а я пока посижу", - подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

- Ну, перестань! - сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни

разу не любил; было вес, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему - первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих. Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

- Перестань, моя хорошая, - говорил он, - поплакала - и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

- Как? Как? - спрашивал он, хватая себя за голову. - Как?

И казалось, что еще немного - и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.